

О ЧЕМ поговорить-то? И как, в какой форме?

Можно начать так: «Дорогой Вы наш Василий Макарович! Вот если бы Вы дожили до нашего времени! Ах, как нам сегодня Вас не хватает. Время-то у нас сегодня какое!»

При таком обращении к юбиляру невольно спотыкаешься на словечке «если»: хочется написать «если», как у Шукшина в его «Я пришел дать вам волю» и еще где-то, в «До третьих петухов» — знак архаизма, излюбленного Василием Макаровичем...

Почему излюбленного? Ведь мы знаем, что всеми фибрами своего существа Шукшин был современен, нацелен на перестройку, гласность, послужил предтечей благодетельных перемен. Так и напишут в предисловиях (может быть, уже написали) к будущим изданиям его книг: «предтеча». Или еще: «споспешествовал».

И вот, предтеча споспешествовал, а между тем (или, лучше, «но в то же время») держался за архаизм (диалектизм), как дитя держится за материнскую грудь... Написал и тотчас почувствовал хромоту сравнения на обе ноги: дитя непременно рано или поздно грудь отринет (его отлучат), а писатель Шукшин до самого последнего времени своей жизни вкладывал в уста героя, если герой — историческая личность, ну хотя бы Иван-дурак, не среднелитературное «если», а пошехонское «если». Все-то в одной букровке разница, а на чужой язык не переведешь, только на своем выразишь.

В этом и особенная, со стороны не слышная радость поговорить с Шукшиным на своем языке — не потому, что «им разговаривал Ленин», а потому, что — улада узнавания своего на корню. Я помню, «если» говаривала моя бабушка (хотя понимала, что неправильно), крестьянка Новгородской губернии. И, надо думать, няня Пушкина Арина Родионовна, и Степан Тимофеевич Разин, и еще тьма-тьмущая русских людей, наших пращуров, до какого-нибудь едва достигаемого мысленным взором колена.

Язык русский с тех пор спрямили, проположили, гербицидами-пестицидами выхолостили-«обогатили»; что сохранилось в нем изначально — от национального характера, исторического образа поведения народа, то есть, согласно теории Л. Н. Гумилева, от этноса, — слышь нынче разве у таких писателей, как... Не буду называть поименно: и так мы знаем, сочтешь на пальцах одной руки. И — в театре Шукшина: все творчество Василия Макаровича сплошь театрально — кино и проза. Можно сидеть в зрительном зале на «Калине красной» с закрытыми глазами, слушать, наслаждаться точностью попадания каждого слова в десятку.

В одном из интервью Шукшин заметил, что с театром мало знаком. Он не то что слухавил (хотя и слухавил, он это умел): театр Шукшина — явление, не поддающееся под общую мерку, опять же какое-то очень этническое, принципиально замешенное на скomorошестве — и многослойное, как бы театр в театре. Вспомним хотя бы, как Стенька Разин истоиво репетировал на берегу речки Болды, в романе «Я пришел дать вам волю» сцену дарения шубы с собственного плеча астраханскому воеводе Прозоровскому, с последующим трагикомическим шествием. Или как дед Стырь «ходил» к царю Алексею Михайловичу, а роль царя исполнял дед Любим, сидя на трех седлах, одно на другом. Уже в раннем сочинении Шукшина романе «Любовины» главный его герой, присланный переустраивать жизнь в деревне, рабочий па-

рень Кузьма, не в силах реквизирувать у богатеев хлебушко, принимает репетировать собственного сочинения пьесу на эту тему, будучи уверенным в воздействии смехового искусства на умы — в заданном ему, искусству, нужном направлении. Кузьме не удалось сыграть свою пьесу на сцене: приехали продюсеры, у них другие методы изъятия хлеба, более радикальные.

Шукшин уповал на смех как на свойство народного характера — не признав какой-то особой национальной веселости, а порыв к выживанию, целостности, здоровью нации и — первое дело — к воле. Наиболее полно на эту тему выказался у него персонаж по прозвищу Мудрец в пьесе-сказке «До третьих петухов», серьезно выказался, но и с подковыром, как всюду у Шукшина.

«Вы, господа хорошие (это Мудрец к чертям обратился. — Г. Г.), в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе. А ведь народ не скучал! Народ смеялся!.. Умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища — и только смехом».

Театр Шукшина запечатлел образ поведения народа — в быту и в истории. Выведенная из скomorошества смеховая культура есть черта национального характера, фермент жизни нации. Слезами горю не поможешь — в быту, да и в истории. Тем более, Москва слезам не верит. Хотя смех у Шукшина близко-близко к слезам, бьется, и кровавым.

рился однажды (в статье «Нравственность есть Правда»): «Не всегда надо понимать до конца то, о чем пишешь — так легче остаться непредвзятым». Лучшие умы России — ничуть непредвзято — задавались вопросом о судьбе своей родины... и не торопились с ответом, чтобы раз навсегда, в последней инстанции... Обратимся к философу нашего века Николаю Бердяеву, только что возвращенному нам, по счастью... «Никакая философия истории, — размышлял философ, — славянофильская или западническая, не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покoren бюрократии, почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни?..» Вопрос не утратил своей актуальности...

Пока что из предсказаний пророков в нашем Отечестве сбылось, пожалуй, одно, Чаадаева: о выпавшей на долю России острагующей миссии — преподать человечеству некий урок, видимо, этот: так не должно быть у людей. Урок преподан, надлежит нам самим усвоить его, научиться, как теперь войти... ну, не сразу, как говорят, поэтапно, в семью человечества. Или,

Глеб ГОРЫШИН

19. Лит. газ. - 1989. - 26 июля. (N 30). - С. 6

Поговорить с ШУКШИНЫМ...

Образ поведения — определяющая система опознавательных знаков этноса (опять же по Льву Николаевичу Гумилеву) даже в большей степени, чем язык: чужому языку можно выучиться. Соплеменник безошибочно узнает соплеменника по образу действий, поступков. Например, издавна, еще в средние века, замечено иностранными наблюдателями, что русские не любят сдаваться...

Опознавательных знаков этноса великое множество... Понятно, что этнос, равно и его знаки, обкатывается под ветрами времени, изнашивается, но образ поведения сохраняется непредсказуемо долго, как радиоактивные отходы (да простит мне Л. Н. Гумилев такое упрощение его теории). Распознавание в искусстве этих самых этнических черт доставляет соплеменнику ни с чем не сравнимое, вполне иррациональное эстетическое удовольствие обретения себя в роду (не в ряду) себе подобных: вот мы какие! (Чужестранцу тоже любопытно: у них все не как у людей.) И — подводит к краю чего-то нераскрытого, неразгаданного — тайны: что было, что есть, что становится с народом. С моим народом. Ничто не приоткрывает нам тайну с такой очевидностью, как искусство. В этом и сокровенная радость разговора с Василием Макаровичем: на животрепещущие вопросы найти ответы в его искусстве.

Но сразу надо заметить, что ответы не будут окончательными, поскольку... процесс не закончен. Ну да, продолжается жизнь. Сам Шукшин огово-

может быть, в суперэтнос... Ведь все мы, каждый из нас, в какой-то мере — производные истории, ее итог, пусть микро, но все же, все же... продукт социальной селекции, произведенной в нашем государстве, особенно за первые тридцать лет, со всей рачительностью. История государства, народа, отдельного человека не переписывается заново, не поправляется ни в одном знаке препинания.

Поговорить с Шукшиным — об этом самом. Василий Макарович много передумал, надолго вперед. В рабочих его записках есть такая заметка: «Не теперь, нет. Важно прорваться в будущую Россию». Прорвался ли, предвидел ли, как далеко мы шагнем через пятнадцать лет после него (если глядеть из 74-го года)? Не знаю, не берусь утверждать. Знаю только, что сам Василий Макарович не метил в пророки в своем Отечестве, не отличился в жанре прокламации, столь популярном в наше время. Хотя... предвидел, конечно, заметил в своем времени завязь того, чему суждено нынче пышно расцвести. Ну вот, все тот же Мудрец, в диалоге с чертом:

«— Тут, очевидно, следует говорить не о моде, — заговорил старик важно и взволнованно, — а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали...»

— Конечно! — воскликнул черт, глядя на Мудреца влюбленными глазами. — Конечно, о возможном положительном влиянии...
Недавно я смотрел по телевизору выступление заслуженно известного писателя моих лет (ровесника Шукшина)... и просто рот разинул от удивления, насколько точка зрения коллеги совпала с позицией шукшинских Мудреца и черта. Коллега выразил мнение, что в нашей озорчивой неготовности ко всеобщему аморализму повинна... русская классическая литература. Чтобы преодолеть неготовность — в этом задача № 1, классике бы лет на двадцать закрыть — и все бы вышло о'кей...

Особенно меня поразил интервьюировавший писателя кандидат-гуманитарий, преподающий в вузе тот самый предмет, с которым так лихо разделался герой передачи. Кандидат с видимой легкостью пренебрег каким бы то ни было образом поведения, не только этнического: не возразил, не сделал негодующего жеста, не выругался матом...

Еще нынче принято публично порицать Льва Толстого, который — такой-сякой! — трактовал человека только выше тазобедренного сустава, что противу естества, а естество тоже хочет жить...

В общем, голоса Мудреца с чертом возобладали над всеми другими — при полном понимании «большинства». Как-то не слышно стало и глуховатого, раздумчивого голоса Василия Макаровича (а он ведь упреждал!). Впрочем, у него и об этом

сказано — помните? — в «Третьих петухах», в самом конце: «Персонажи сидели тихо...» Среди персонажей — кто да кто?.. Илья Муромец, Бедная Лица, Обломов, некто в цилиндре — не то Онегин, не то Чацкий и другие. Тут мне следовало, руководствуясь нажитым опытом, совершить пируэт в сторону оптимизма: они еще свое слово скажут. Но лучше воздержаться от... пируэта.

Экстраполируя мысль Шукшина (позднее, зрелого) на наши сегодняшние литературные и другие несходства, едва ли можно причислить его голос к хору наших ригористов-традиционалистов, готовых облагодетельствовать народ каким-нибудь декретом сверху: сухим законом или еще чем-нибудь таким, очень русским, чтобы по угрюмо-бурчавски... Чему никогда не изменял Василий Шукшин, так это образу поведения своего народа, полагая призыванием художника говорить народу правду о нем. (Вспомним, как «народ» оскорблялся на шукшинскую правду, взбрыкивал, особенно его «земляки»). Даже и... «заколачивать свой гвоздь в плаху истории (ой-ой-ой)». Есть у Шукшина и такая «рабочая записка».

Здесь, правда, не очень понятно насчет плахи-то, но что-то есть, подстрекает к разговору с Василием Макаровичем (к, так сказать, «беседам при ясной луне»). Мне помогает разговаривать с Шукшиным, пусть не на равных, но и без оглядки на что-то «преимущественное право» — есть такие, заявляют права — моя память, сохранившиеся в ней заповедно-дорогие минуты, часы, проведенные вместе с Макарычем, с глазу на глаз или в сообществе близких ему людей; их было мало. В июне 1973 года (или в мае, еще яблони цвели) я прилетел в Белозерск, где Шукшин снимал «Калину красную»... Километров десять отшагал берегом Белого озера до деревни Садовой — там снимали на натуре эпизод... Макарыч приметил меня, крепко тиснул мне руку, на минутку присел на бревно перекурить, поглядел мне в глаза своим тяжеловатым, зеленоватым взором, вернулся на съемочную площадку... Вечером он отер с лица пот, пудру (или что там оттирают с лица актеры), расстегнул пуговицы на кожаном пиджаке Егора Прокудина, расслабил скулы. Спросил у меня, то есть не спросил, а высказал в утвердительном тоне: «Тебе надо выпить. Я-то только компот. Мне нельзя». Почему нельзя, объяснять шел излишним. Можно пить русскому народу или не можно — об этом как-то тоже не завелся у нас разговор. Я смущенно ответил Макарычу, что ничего, перебыю. Он не принял в расчет мой лепет, сказал в своей волевой манере: «Пойдем к директору картины, у него найдется». Мы пошли, и нашлось. Макарыч пил из большой железной кружки черной, как деготь, кофе. Рассказывал о том, как ездили выбирать натуру для съемки фильма о Стеньке Разине. Фамилия директора картины тогда была Шолохов. Приедут в какой-нибудь райцентр, директор картины позвонит первому лицу в районе: «С вами говорит Шолохов». На другом конце провода воцарялось выжидающее молчание. Директор картины Шолохов выдерживал свою роль, не проговаривался. Никому из местных не приходило в голову, что может быть в стране другой Шолохов; только этот, один. Тем более снимается фильм, надо думать, «по Шолохову»; все сходилос. Вечером созывался банкет по высшему разряду — в честь Шолохова со товарищи. Местные за столом исподтишка выглядывали, ко-

торый — Шолохов. Разыгрывалась пантомима, до тех пор, покуда...

Василий Макарович рассказывал так весело, смачно и так он смеялся, такая исходила от него светлость, будто жить ему — всех пережить... Вспоминаю о Стеньке Разине должно было отозваться хмуростью на челе Макарыча: фильм откладывался, не давали снимать... Кто не давал? Почему? Эти вопросы остались без ответа. Но Шукшин смеялся безудержно весело в тот вечер. Хотелся дописать: смеялся сквозь слезы, но, ей-богу, слезы не текли по грубо тесаному, бесконечно всем нам знакомому в то время его лицу...

Кстати, о Шолохове. Михаил Шолохов и Василий Шукшин — тема отдельного, долгого размышления. Гениальный «Тихий Дон» сейчас самое время перечитывать заново, дабы познать природу, стихию, психологию глубинного русского человека от земли в революции — эту многочленную формулу его вольнолюбия. И роман Шукшина «Я пришел дать вам волю» — о том же, с временной поправкой на историю. И там и там казачья вольница, порыв к воле как главный движитель русского характера на историческом изломе. Крестьянская тугодумность — и обреченность главных героев... В Гришке Мелехове непокорство, безрасудство при ясном разуме — от Стеньки Разина, не литературного персонажа, а атамана. И ни в одной книге мира не проливается столько крови и зелья хмельного, как в романах Михаила Шолохова и Василия Шукшина.

И еще одно сходство — не подражательность, а правда историческая — и художественная — фактуры... Есть в «Тихом Доне» идейный положительный персонаж пролетарий Штокман; автор вменил ему роль в общем действе — просветлить сознание масс, разумеется, с классовых позиций, внести организующее начало в стихию бунта, направить движение к цели. Штокман, в отличие от Мелехова, знает, в чем цель, но погибает с какой-то фатальной неизбежностью — за идею всеобщего счастья, как многие тысячи вкупе с ним, после него. Идея все больше абстрагируется, отделяется, жертвоприношения во имя цели множатся. Примерно то же происходит в романе «Я пришел дать вам волю» с идейным мужиком Матвеем Ивановым...

Близко знавшие Шукшина люди говорят, что роман «Я пришел дать вам волю» — очень автобиографичный: будто Василий Макарович настолько породнился духом со своим героем, что написал как о самом себе... Бог его знает, мало ли что говорит... Но когда читаешь роман о Стеньке Разине, вдруг улавливаешь такую задушевную ноту, такое личное, сокровенное...

«Глаз человеческий должен отдохнуть после бесплодного дневного света, душа человеческая должна успокоиться от сиверны малых дневных дел, разум должен породить мысль, что на земле на этой хорошо бы жить босиком, в просторной рубахе — шагать по ней и шагать из конца в конец, — своя она, мы же родились тут. И даже ложиться в нее не так уж страшно. Свет этот, мягкий, теплый, доступен, наверно, и покойным в земле».

Когда написано это, было автору чуть за сорок, а сколько надо пережить, перечувствовать, настроиться, сколько земли исходить, судеб человеческих вместить в себя, как предвидеть собственную судьбу, чтобы увидеть жизнь с такой высоты...

Спасибо Вам, Василий Макарович, что побыли вместе с нами, уйдя, оставили нам несказанный свой свет. Чтобы мы могли видеть.

